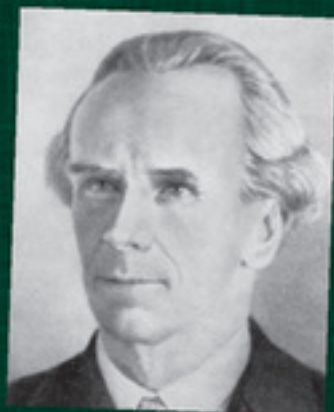
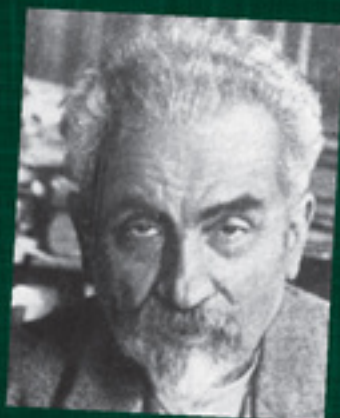


В. М. АЛПАТОВ

ЯЗЫКОВЕДЫ, ВОСТОКОВЕДЫ, ИСТОРИКИ



Владимир Алпатов

**Языковеды,
востоковеды, историки**

«Языки Славянской Культуры»

2012

УДК 80/81
ББК 81.2

Алпатов В. М.

Языковеды, востоковеды, историки / В. М. Алпатов — «Языки
Славянской Культуры», 2012

Предлагаемая читателю книга включает в себя ряд биографических очерков, посвященных отечественным ученым – гуманитариям XX в., прежде всего, языковедам и востоковедам. Автор книги, который уже много лет занимается историей науки, стремился совместить в своих очерках историю идей и историю людей, рассказ о научных концепциях, биографический анализ и в некоторых случаях элементы мемуаров. В книге рассказывается и о развитии ряда научных дисциплин в течение последнего столетия, и об особенностях личности ученых, выдвигавших те или иные идеи и концепции, и о влиянии на судьбу и деятельность этих ученых сложного и интересного времени их жизни. Рассматриваются малоизвестные факты истории нашей науки XX в., вводятся в научный оборот некоторые новые сведения, в том числе архивные, делается попытка отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

УДК 80/81
ББК 81.2

© Алпатов В. М., 2012
© Языки Славянской Культуры, 2012

Содержание

Предисловие	6
Громовержец	10
Человек-словарь	25
«Никуда не годный заговорщик»	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Владимир Михайлович Алпатов

Языковеды, востоковеды, историки

© Алпатов В. М. 2012

© Языки славянских культур, 2012

Предисловие

Предлагаемая читателю книга не соблюдает «чистоту жанра». Она совмещает в себе научный и научно-популярный подход, рассказ о научных идеях, биографический анализ и элементы мемуаров. Автор книги уже много лет занимается историей отечественной науки XX в., постепенно расширяя рамки исследований: сначала история японского языкознания, потом изучение языкознания вообще, наконец, и история развития ряда других гуманитарных дисциплин. А история науки включает в себя, по крайней мере, два компонента: историю идей и историю людей. Можно, разумеется, ограничиваться исключительно историей идей (сейчас это применительно к лингвистике стали называть лингвистической эпистемиологией) и полностью отвлекаться от истории людей. И я так поступал и буду поступать во многих своих публикациях. Однако, занимаясь историей науки, сталкиваешься с тем, что те или иные идеи и концепции выдвигали интересные люди с яркими судьбами. И, бывало, хотелось поделиться с читателем малоизвестными фактами их биографий, а в ходе работы не раз всплывали совершенно новые сведения, в том числе архивные. А в советской науке XX в., особенно его первой половины, пожалуй, как ни в какой другой, трудно отделить историю идей в чистом виде от обстоятельств, в которых эти идеи вырабатывались и провозглашались. Традиционная биография ученого бедна внешними событиями: тогда-то родился и умер, там-то учился, там-то работал, то-то опубликовал, но редко так получалось в годы революций, войн, коренной ломки общественных отношений. В судьбах многих моих героев бывали и взлеты, и падения. Но даже если событийная сторона жизни была более или менее спокойной, что во второй половине века стало нормой, то могло быть немало внутренних сложностей: многим приходилось проходить через переоценку ценностей, непризнание и непонимание со стороны окружающих и многое другое. А многие концепции вообще неотделимы от личности их автора; яркий пример – Н. Я. Марр.

В биографиях многих моих «героев» отразилось сложное и интересное время их жизни. Они нередко дают представление не только об истории тех научных дисциплин, которыми они занимались, но и обо всей истории нашей страны за последнее столетие. Я, разумеется, не ставил себе задачу написать сколько-нибудь связный исторический очерк, но, как мне представляется, кое-какую информацию эти судьбы могут давать. Безусловно, в моих оценках немало субъективного, но мне очень хотелось бы отойти от старых и новых стереотипов в оценках многих исторических событий.

Моя научная жизнь сложилась так, что я по образованию и основным занятиям – языковед (или, что то же самое, лингвист), но после окончания МГУ более сорока лет работаю в академическом Институте востоковедения, где страны Азии и Северной Африки изучают не только в лингвистическом аспекте, но и в историческом, культуроведческом, политологическом, экономическом и т. д. Можно ли считать востоковедение единой наукой? Это спорно, но общее в разноплановых исследованиях той или иной страны Востока (скажем, Японии) все же есть, а наше классическое востоковедение, последних представителей которого (например, Н. И. Конрада) я еще застал, занималось своими странами и народами во всех аспектах. Поэтому меня с давнего времени интересовали и история лингвистики, и история востоковедения (в состав которого традиционно входит и восточное языкознание), а среди персонажей книги присутствуют и чистые лингвисты, не все из которых занимались восточными языками, и востоковеды, независимо от того, занимались ли они специально языками или нет. Были и ученые, одновременно работавшие и как лингвисты широкого профиля, и как востоковеды (Н. Я. Марр, Е. Д. Поливанов). Кроме того, некоторые из рассматриваемых здесь ученых могли заниматься и другими вопросами: публикациями памятников, литературой, этнографией и др. Все это тоже как-то здесь учитывается. Я не стремился охватить в очерках всех наиболее круп-

ных отечественных ученых, мой отбор персонажей иногда случаен, а их вклад в науку неравноценен, но мне каждый из моих «героев» представлялся хоть чем-то интересным.

Среди персонажей моих очерков есть немало людей, наследием и биографией которых я занимался, но которых никогда не мог видеть, поскольку они умерли еще до моего рождения. Однако некоторых ученых и организаторов науки я знал: одних по филологическому факультету МГУ, где я учился, а позже стал по совместительству преподавать, других по Институту востоковедения. Какими-то из своих воспоминаний мне хотелось бы поделиться, хотя среди моих очерков вряд ли хотя бы один можно назвать мемуарами в чистом виде. Кроме того, я решился рассказать и о своих родителях, которые тоже работали в советских гуманитарных науках. Они, правда, не были ни лингвистами, ни востоковедами в традиционном для нашей страны понимании; они были историками. Но я, сам не будучи историком, включил и их в свою галерею.

О большинстве своих «героев» я уже не раз писал и публиковал статьи, а иногда и книги. Но эти публикации, как правило, были рассчитаны на читателя-профессионала. А мне хочется рассказать о них и более широкому читателю. Поэтому я сознательно отказался от научного аппарата, от систематической библиографии (источники приводимых в книге цитат можно найти в других моих публикациях), значительно упрощаю изложение научных концепций своих персонажей. Однако я не считал возможным ограничиваться только биографическим и мемуарным материалом. Важно было и показать вклад моих «героев» в науку, поэтому я старался как-то рассмотреть и их научные взгляды, пусть упрощенно.

В качестве первого варианта данной монографии я могу рассматривать небольшую книгу «Москва лингвистическая», изданную в 2001 г. издательством Института иностранных языков. В нее были включены очерки о ряде лингвистов, про девять из которых рассказывается и здесь. Однако здесь все эти очерки значительно переработаны и расширены.

Об ученых, здесь рассмотренных (кроме троих), ранее у меня выходили публикации. Некоторые из них послужили основой для данных очерков, но все они в ходе подготовки книги к печати подверглись той или иной правке. Далее приводится список основных публикаций. Часть из них была выполнена совместно с ныне покойным Ф. Д. Ашниным на основе архивных исследований, большей частью принадлежавших моему соавтору; однако за тексты каждой из этих публикаций я несу полную ответственность.

Н. Я. Марр:

История одного мифа. Марр и марризм. М.: Наука, 1991. 2-е изд. М.: УРСС, 2004.

Актуально ли учение Марра? // Вопросы языкознания. 2006. № 1.

Н. Я. Марр и народные этимологии // Вопросы филологии. 2009. № 1.

Д. Н. Ушаков:

Дмитрий Николаевич Ушаков – ученый и человек // Арбатский архив. П. М., 2009.

Н. Н. Дурново:

«Дело Славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994. С Ф. Д. Ашниным.

Николай Николаевич Дурново // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1993. № 4. С Ф. Д. Ашниным.

А. М. Селищев:

«Дело Славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994. С Ф. Д. Ашниным.

Е. Д. Поливанов:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 35–66. Ищите в расстрельных списках. К 100-летию со дня рождения Е. Д. Поливанова // Азия и Африка сегодня. 1991. № 12.

Евгений Дмитриевич Поливанов // Отечественные лингвисты XX века. Ч. 2. М.: ИНИОН, 2003.

Н. И. Конрад:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 83–97. Николай Иосифович Конрад. К 100-летию со дня рождения // Восток. 1991. № 2.

Предисловие // Николай Конрад. Неопубликованные работы. Письма. М., 1996.

Академик Николай Иосифович Конрад // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. № 5–6.

Николай Иосифович Конрад (1891–1970) // Портреты историков. Время и судьбы. Т. 3. Древний мир и Средние века. М.: Наука, 2004.

Н. А. Невский:

Изучение японского языка в России и СССР. М.: Наука, 1988. С. 77–82. Николай Александрович Невский // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1993. № 6.

«Колоссальный продукт» // Русское подвижничество. К 90-летию Д. С. Лихачева. М.: Наука, 1996.

Н. И. Конрад и Н. А. Невский:

Конрад и Невский // Российские востоковеды. Страницы памяти. М.: Муравей, 1998.

Е. Д. Поливанов, Н. И. Конрад и Н. А. Невский: Три япониста // Знание-сила. 1992. № 1.

Н. Ф. Яковлев:

Жизнь и труды Николая Феофановича Яковлева // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1994. № 4, 5. С Ф. Д. Ашниным.

Николай Феофанович Яковлев // Отечественные лингвисты XX века. Ч. 3. М.: ИНИОН, 2003.

Р. О. Шор:

Розалия Осиповна Шор // Вопросы языкознания. 2009. № 5.

В. Н. Волошинов:

Волошинов, Бахтин и лингвистика. М.: Языки славянской культуры, 2005.

П. С. Кузнецов:

Петр Саввич Кузнецов (к 100-летию со дня рождения) // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1999. № 1.

Воспоминания о Петре Саввиче Кузнецове // Фортунатовский сборник. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

В. И. Абаев:

Предисловие // Абаев В. И. Статьи по теории и истории языкознания. М.: Наука, 2006.

В. И. Абаев – теоретик языкознания // Вопросы языкознания. 2009. № 3.

П. С. Кузнецов и В. И. Абаев:

Эпизод идейной борьбы в советской лингвистике // Ирано-Славика. 2008. № 1–2.

М. Ю. Юлдашев:

Двое из Саранска // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 2001. № 2.

Т. П. Ломтев:

Тимофей Петрович Ломтев // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Серия 6. Отечественное языкознание. 1995. № 3.

Б. Г. Гафуров:

Мудрый руководитель и наставник // В масштабе века. Бободжан Гафурович Гафуров. М.: Посольство Республики Таджикистан, 1999. То же. Академик Бободжан Гафуров. К 100-летию со дня рождения. М.: Восточная литература, 2009.

К. А. Антонова:

О мемуарах К. А. Антоновой // К 100-летию со дня рождения К. А. Антоновой. М.: Восточная литература, 2011.

Н. А. Сыромятников:

Этот бескомпромиссный Н. А. Сыромятников // О коллегах и товарищах. Московские востоковеды 60–80-х годов. М.: Восточная литература, 1994.

М. А. Алпатов:

Об отце // История и историки. 2004. Историографический вестник. М.: Наука, 2005.

З. В. Удальцова:

Член-корреспондент АН СССР Зинаида Владимировна Удальцова (1918–1987) // Новая и новейшая история. 2008. № 6.

Удальцова Зинаида Владимировна (1918–1887) // Портреты историков. Том 5. Средние века. Новая и новейшая история. М.: Наука, 2010.

О ряде рассматриваемых ученых см. также публикацию:

Филологи и революция // Новое литературное обозрение. 2002. № 1 (53). Очерки, за исключением двух последних, расположены в порядке дат рождения их персонажей.

Громовержец (Н. Я. Марр)



Имя академика Николая Яковлевича Марра (1864/1865–1934) я узнал в очень раннем детстве, когда мне еще не было и четырех лет. Меня иногда водили в дом тетки моей матери, скульптора З. Д. Клобуковой. В огромной коммунальной квартире с высоченными потолками в центре Москвы, переделанной из парадных залов барского дома Горчаковых, большую комнату занимала ее мастерская. Она вся была уставлена скульптурами, казавшимися ребенку громадными. Помню, как Зинаида Дмитриевна показывала их мне и рассказывала, кто есть кто. И был там мрачный бородатый человек, рядом с которым стояла скульптура солдата, про них было сказано: «Это академик Марр, это красноармеец. Они у меня разговаривают». Много позже я узнал, что Клобукова была знакома с Марром, лепила его с натуры, но когда я заинтересовался этой личностью, ее уже не было на свете.

Прошел год, и помню лето, дачу в Кратове и поселковый радиорепродуктор, из которого разносилась статья И. В. Сталина «Относительно марксизма в языкознании». Мне в пять лет запомнились из нее лишь два неоднократно повторявшихся слова «базис» и «надстройка». Но стало ясно, что академик Марр – вовсе не такой хороший человек, каким представляла его сестра моей бабушки. Впрочем, скульптура продолжала стоять в мастерской еще много лет, но, увы, после смерти Зинаиды Дмитриевны в 1968 г. родственники продали ее вместе с другими оставшимися скульптурами неизвестно куда, и следы ее затерялись.

Когда я начал учиться лингвистике, то узнал, что и после разоблачения «культа личности» учение Марра не признали. В нашем обучении он почти не присутствовал (только в курсе истории лингвистики В. А. Звегинцев его упоминал, но отзывался о нем резко). Зато помню, как на научном студенческом обществе студент старшего курса Сергей Кузнецов (ставший впоследствии известным лингвистом) рискнул выступить с докладом о Марре, что по тем временам (1966 г.) выглядело экзотикой. Впрочем, он мало что сумел сказать в защиту академика, кроме общих слов о том, что тот подходил к своему предмету комплексно и совмещал в себе лингвиста, археолога и историка.

И потом Марр был для меня где-то далеко, пока не грянула перестройка. Все, связанное с главным критиком Марра, вдруг стало сверхактуальным, начались становившиеся все более злыми его разоблачения. Это вызывало (не у лингвистов, а у философов и особенно писателей и журналистов) сочувствие к любым его «жертвам», и к Марру тоже. Пошли публикации, авторы которых иногда даже не знали, что академика критиковали более чем через пятнадцать лет после его смерти. А я весной 1987 г. закончил большую тему и не мог сразу разобраться, чем заняться дальше. Потом у меня умерла мать, я долго был выбит из колеи. И тут в конце октября востоковед Петр Михайлович Шаститко (1923–2009) предложил мне написать в журнал «Народы Азии и Африки» статью о значении дискуссии 1950 г. для советского востоковедения. Я вдруг понял, что это то, что мне сейчас нужно.

Я начал работать в библиотеках, читать сочинения Марра, его сторонников и противников, встречаться с участниками и свидетелями тех событий (в конце 80-х их было еще много, я охватил около двух десятков людей, из которых сейчас не остался в живых никто). И тема меня захватила. Материала оказалось столько, что помимо статьи сама собой получилась книга «История одного мифа: Марр и марризм» (к сожалению, из-за неспешности издательства «Наука» книга, написанная в 1988 г., вышла лишь осенью 1991 г., уже в другую историческую эпоху, когда эффект новизны прошел). Я думал, что книгой исчерпал тему, и перешел на другие сюжеты, но оказалось, что академик меня не отпускает, к тому же неожиданно тема Марра приобрела новую актуальность, о которой я скажу в конце. И за прошедшие два десятилетия пришлось писать и о параллелях между марризмом и марксизмом, и о причинах выступления Сталина, и о методах этимологизирования Марра, и о многом другом, полемизировать с неожиданно появившимися «неомарристами». В 2004 г. «История одного мифа» вышла вторым, дополненным изданием. А, рассказывая здесь о персоналиях советских лингвистов, нельзя пройти мимо столь мощной и яркой фигуры, ставшей с 1987 г. моим «вечным спутником».

Николай Яковлевич Марр – по выражению его ученика В. И. Абаева, «без сомнения, если не самое знаменитое, то самое “шумное” имя в истории советской науки». Его считали великим ученым, сравнивали с Коперником и Дарвином, но могли и полностью зачеркивать его вклад в науку и сожалеть о бумаге, исписанной его сочинениями. Ушли из жизни последние люди, его знавшие, но споры о нем продолжаются.

В его биографии все было необычно, начиная с происхождения. Его отец Джеймс (по другим источникам, Джекоб) Марр, шотландец-садовник, оказался заброшен судьбой в Закавказье, где в восьмидесятилетнем возрасте женился на двадцатилетней грузинке. От этого брака в Кутаиси родился Николай Яковлевич. Как он впоследствии рассказывал, у его родителей не

было общего языка: отец говорил по-английски и по-русски, мать – только по-грузински. Но, безусловно, родным языком Николая Марра был грузинский (по-русски он говорил свободно, но с заметным акцентом), и детство он провел среди грузин. В Кутаисской гимназии мальчик выделялся способностями, но также и странностями поведения: однажды, поругавшись с товарищами, он положил в мешок свои книги и пошел по шпалам в Тифлис, а потом еще дважды убегал из гимназии. Как позже писал сам Марр, в те годы он увлекался идеями независимости Грузии, вдвоем с товарищем они как-то поклялись отдать за это жизнь, но, как сам добавляет, его товарищ стал директором банка, а он академиком.

Марр всю жизнь был очень честолюбив, но, выбирая профессию, не мог не учитывать, что человеку не дворянского происхождения в тогдашней России многие пути были закрыты. Из того, что было доступно, служить в банке, очевидно, не казалось интересным, духовная карьера не считалась престижной, а для какой-либо революционной борьбы в «глухое царствование» Александра III перспектив не было видно. Оставалась наука, и этот выбор оказался фатальным даже не для самого Николая Яковлевича (его карьера как раз удалась), а для отечественной науки. При больших талантах будущий академик по складу мог быть выдающимся проповедником, революционером, может быть, поэтом, но научные занятия ему были противопоказаны. Как пишет современный исследователь Я. В. Васильков, «чтение работ Марра наводит на мысль, что он вряд ли отчетливо понимал различие в принципах научного – и художественного, поэтического творчества. Подобно поэту, он не считал нужным подвергать свои интуитивные прозрения анализом фактов и логической аргументацией». И, как писал еще в 50-е гг. один из его критиков Б. В. Горнунг, «сначала следовал вывод, а потом уже изучение и исследование материала с готовой предвзятой идеей. Этому принципу, впервые примененному в юности, Н. Я. Марр остался верен всю свою жизнь». Ученые не должны так работать.

Но, став в 1884 г. благодаря кавказской стипендии студентом восточного факультета Петербургского университета, Марр сразу же показал свои таланты. Тогда студенты на факультете учили либо один восточный язык, либо два-три языка, культурно связанные (например, иранисты кроме персидского языка учили арабский). А Марр стал учиться сразу на четырех разрядах, что не имело на факультете прецедентов, и выучил все языки Ближнего Востока, там преподававшиеся. Одним из его талантов был полиглотизм. Но его подготовка имела существенный пробел. Студентов-востоковедов тогда учили в основном читать старинные рукописи, но не учили лингвистике. Исключительно развитое к тому времени сравнительно-историческое языкознание (о нем подробнее всего см. в очерке о С. А. Старостине) не преподавалось востоковедам. И Марр, в ранние годы принимавший его постулаты, просто не умел работать в этой области, в чем даже не было его вины. Но потом именно по этой причине ему было легко эти постулаты отбросить.

Окончив в 1888 г. университет, молодой ученый решил специализироваться по кавказоведению; в этой области на факультете у него не оказалось сильных конкурентов. При этом с самого начала он не ограничивался грузинской филологией, занявшись и Арменией, позже он включил в сферу интересов и другие языки и культуры Кавказа. К тому времени его национальные симпатии сменились общекавказскими (уже в годы Гражданской войны правившие в Грузии меньшевики предложили Марру стать ректором нового Тбилисского университета, он отказался, поскольку создавался чисто грузинский университет, а он настаивал на межнациональном университете с грузинским, армянским и азербайджанским факультетами). И уже в ранние годы у него были любимые идеи, которые он отстаивал, даже если они противоречили научно установленным фактам. Одной из них была идея о великом историческом прошлом кавказских народов. Другой – усвоенный с детства тезис об особой близости грузин и армян, который хотелось подкрепить доказательством родства их языков. Но сравнительно-историческое языкознание к тому времени установило, что армянский язык входит в обширную индо-

европейскую семью, с грузинским же языком ясности не было, но, во всяком случае, он никак не мог считаться индоевропейским. Уже это вызвало недовольство молодого ученого.

Но пока еще Марр в основном следовал канонам своей профессии. Выдвинулся он не как языковед, а как филолог, затем как археолог (хотя в это время он написал и лучшие свои лингвистические работы, в том числе грамматику родственного грузинскому лазского языка, и сейчас ценимую специалистами). В ранний период своей деятельности он совершил несколько путешествий на Кавказ, на Афон и Синай, где изучал библиотеки православных и армяно-григорианских монастырей, найдя там ценные древнегрузинские и древнеармянские рукописи, которые издал. Видный немецкий богослов А. Гарнак после этого писал, что Марр доказал принадлежность грузин к «великой греко-христианской семье народов древности». Все эти памятники были церковными, сам Марр в те годы был старостой грузинской церкви в Петербурге и принимал участие как эксперт в канонических спорах. Кто мог тогда представить, что он единственным из членов Императорской академии наук вступит в партию большевиков? А как археолог Николай Яковлевич достиг еще больших успехов. В основном он раскапывал армянские памятники, прежде всего, древнюю столицу Армении Ани. В связи с этим его имя до сих пор окружено почетом в Армении (намного больше, чем в его родной Грузии).

Но и в начале XX в. Марр был популярен. Вехи его биографии уже в дореволюционные годы – неуклонный путь вверх: с 1891 г. приват-доцент, с 1899 г. магистр, с 1900 г. экстраординарный профессор, с 1902 г. доктор и ординарный профессор, с 1909 г. адъюнкт Академии наук, с 1911 г. – декан восточного факультета, с 1912 г. академик. Он быстро вошел в когорту знаменитых русских востоковедов. Позже его ученик академик И. А. Орбели скажет: «Вы знаете, что за люди были на факультете... Но... поверьте, гений был только один – Марр».

Но чем больше, тем дальше проявлялись черты сложного характера Марра. В его некрологе работавший под его руководством на факультете академик В. М. Алексеев напишет: «Это грандиозный, бурный, беспредельный темперамент... Это был вечный гейзер, не деливший своих вод на струи и назначения, – вулкан, действовавший в едином огне и сотрясавший все вокруг... При столкновении с людьми... особенно с людьми более размеренной жизни и более размеренных убеждений, не мог не причинять себе и им обид и огорчений, тем более что в окружающей действительности он вряд ли мог встретить людей, понимавших его во всех статьях». Сам Алексеев испытал этот темперамент и на себе: в 1913 г. Марр, тогда декан, запретил ему читать курс по учению Лао-Цзы, поскольку там излагалась «атомистическая теория на футуристическом языке». А сам Николай Яковлевич писал: «Я привык слушать всех, кто давал мне советы (а их так много), чтобы тем резче часто сделать совершенно противоположное». Единственным человеком, имевшим на него влияние, был его учитель, крупный востоковед барон В. Р. Розен, который уговорил его не публиковать наиболее вызывающие положения до защиты докторской диссертации, но после его смерти в 1908 г. воздействовать на вулкан стало некому.

Ситуация усугублялась негласным кодексом поведения, существовавшим в среде востоковедов: не высказываться по тематике, выходящей за пределы их узкой специализации, и тем более по языкам, досконально не изученным. А поскольку в университете крупных кавказоведов, кроме Марра, не было, то критические выступления по его адресу были невозможны. Марр заботился о своем монополизме, точнее, о монополизме своей школы: к моменту революции у него уже было немало учеников, среди них такие крупные ученые как И. А. Орбели, И. А. Джавахишвили, А. Г. Шанидзе. А чужаков он старался изгнать из кавказоведения, так, он не дал возможности продолжать занятия армянским языком видному языковеду А. И. Томсону, опубликовавшему армянскую грамматику (именно Томсон спустя много лет пожалеет исписанную Марром бумагу). Не мог он до конца справиться лишь с конкурентами из Грузии и Армении, где, особенно в Грузии, всегда существовала ему оппозиция. Там могли разбираться в его построениях, тогда как петербургские коллеги исходили из презумпции научной досто-

верности и не догадывались, что и в ранний период ученый мог, если в толковании места в памятнике одно слово не укладывалось в его концепцию, зачеркнуть слово и делать вид, что его нет.

Сам Марр указанному кодексу не следовал. Ранний период его деятельности – эпоха господства позитивизма, когда не только в востоковедении, но в любой гуманитарной науке господствовали «преклонение перед фактом», по выражению В. Н. Волошинова, и боязнь обобщений. Марра же с самого начала тянуло к разнообразным глобальным сюжетам от происхождения языка (глоттогенеза) до миграций народов в древности. Общность этих сюжетов была лишь в одном: Марр сохранил господствовавшее весь XIX в. понимание любой гуманитарной науки, в том числе языкознания, как науки исторической, и тяготел к изучению древнейших, дописьменных и, как тогда часто говорили, «доисторических» эпох. Эти эпохи не могли изучаться филологическими методами, основанными на анализе письменных текстов; дальше вглубь веков заходили лишь археология и сравнительно-историческое языкознание (компаративистика), позволявшее реконструировать праязыки, из которых развились реально зафиксированные языки. Но, во-первых, эти две дисциплины не могли состыковаться между собой: археологические данные оказывались безгласными, а языковые данные очень трудно было привязать к какой-либо археологической культуре. Во-вторых, любые реконструкции получают праязыки, существенно не отличающиеся от современных языков; на их основе нельзя судить о том, как далекие предки человека научились говорить. А Марру хотелось узнать обо всем этом, хотя фактов в его распоряжении не было, зато были богатая фантазия и умение безапелляционно излагать свою точку зрения.

Аппетиты Николая Яковлевича росли постепенно. Поначалу его построения еще находились в рамках допустимых в науке гипотез, хотя доказывать он их не умел. Еще в год окончания университета он выступил со статьей, где без всяких доказательств высказал две основополагающие идеи: о существовании особой семьи языков, которые он назвал яфетическими, и о более отдаленном родстве яфетических языков с семитскими. Как известно, у библейского Ноя были три сына Сим, Хам и Яфет (Иафет). В лингвистике давно выделялись семитская и хамитская семьи, а яфетической не было (хотя в Библии к сынам Яфета как раз отнесены в основном народы, говорившие на индоевропейских языках). И Марр предложил так называть языки, типичным представителем которых во всех многочисленных его вариантах этой семьи оставался грузинский. Снова развивать эти идеи Марр стал с 1908 г., когда опубликовал книгу о семито-яфетическом родстве. Там у него уже содержалось немало языковых примеров, однако никакой строгой методики доказательства не было, поскольку Марр ею не владел. Когда книга вышла, один из академиков заявил ему: «Не ждите, что мы будем Вам помогать, но и мешать Вам мы не будем». Иначе отнеслись к ней и другим работам Марра зарубежные ученые, в частности, крупнейший французский лингвист того времени А. Мейе, выступивший с резкой критикой построений Марра: «Поразительные фантазии, в которых нет лингвистики». После этого Марр на всю жизнь возненавидел и самого Мейе, и всю не признававшую его западную науку. В начале 20-х гг. он попытается создать международный Яфетический институт, но потерпит неудачу.

Яфетические исследования на их первом этапе нельзя оценить однозначно. Их положительной стороной стало изучение языков Закавказья, действительно родственных грузинскому: лазского, мегрельского, сванского, а также грузинских диалектов; здесь вклад в науку внесли и сам Марр, и его ученики. Но, как писал его ученик В. И. Абаев (см. очерк «Человек-столетие»), «выискивание яфетических элементов во всех языках обращается у Марра в своеобразную манию». В число яфетических академик стал включать все, что, по его собственному выражению, «плохо лежит»: баскский язык, совершенно не похожий на окружающие его языки Европы, нерасшифрованный язык этрусков, язык пеласгов, о котором не было известно ничего, кроме названия. Потом он начал объявлять яфетическими и языки с извест-

ными родственными связями: чувашский, берберский и др. И всегда яфетическим языком оказывался армянский. Именно безуспешные попытки доказать грузино-армянское родство привели Николая Яковлевича к двум ключевым идеям, которые он сохранит до конца, даже когда вообще откажется от родства языков: скрещения языков и классовости языка.

Идея скрещения языков существовала в науке и до Марра. Не все лингвисты (в том числе такие крупные как И. А. Бодуэн де Куртэнэ) были согласны с одним из постулатов сравнительно-исторического языкознания, согласно которому языки только расходятся, дробятся, но никогда не сходятся, не скрещиваются (влияние одного языка на другой может проявляться лишь в заимствованиях, которые не меняют генетической принадлежности языка). Английский язык эти ученые иногда считали смешанным германо-романским, а идиш – то ли германо-семитским, то ли германо-славянским. Тем более имелись основания считать смешанными языками всякие пиджины. Этот вопрос и поныне вызывает споры. Но Марр, как не раз с ним бывало, брал некоторую уже существовавшую идею и доводил до абсурда. Любой язык ему хотелось представить как результат скрещения каких-то разных языков. Начал он с армянского языка, пытаясь первоначально примирить свою любимую идею с общепринятыми трактовками: этот язык, по Марру, результат скрещения «простонародного» яфетического языка с «княжеским» языком, который он соглашался считать индоевропейским. Так еще до 1917 г. возникла идея классовых языков, за которые потом будет критиковать Марра Сталин. В дальнейшем Николай Яковлевич распространил ту же идею на другие языки, причем яфетический компонент в соответствии с духом времени у него оказывался связан с народными массами, угнетенными, завоеванными и пр. Например, в Древнем Риме известна борьба патрициев и плебеев. Латинское слово *plebs* имеет собирательное значение, обозначая не одного человека, а совокупность людей. А в грузинском языке имеется показатель множественного числа *-eb*, который можно при желании выделить в *pl-eb-s*. Вывод: латинский язык – результат скрещения яфетического языка угнетенных плебеев и индоевропейского языка завоевателей – патрициев. Итогом данного этапа деятельности академика стала имевшая успех книга «Третий этнический элемент в Древнем Средиземноморье» (два первых элемента – индоевропейский и семитский, третий – яфетический).

Книга вышла в 1920 г., уже в новую историческую эпоху. К моменту революции карьера Марра складывалась успешно. Он был академиком и деканом, последняя должность дала ему гражданский чин действительного статского советника, что в армии соответствовало генерал-майору. Не будучи дворянином по рождению, он получил потомственное дворянство вместе с этим чином. В наши дни (как и в советское время) хорошо известно, как важно бывает добиться бюджетного финансирования отдельной строкой, а Марр (единственный во всей Академии наук) добился такого финансирования для своих экспедиций. В экспедициях он прежде всего приходил к местному начальству в генеральском мундире, вызывавшем почтение, и получал все, что ему было нужно. Вряд ли Николай Яковлевич мог радоваться тому, что происходило в стране в 1917-м и в последующие годы: ему было что терять. Однако, умея ладить с прежней властью, он начал налаживать отношения и с новой. И уже в первые послереволюционные годы он, получив поддержку наверху, создал и возглавил два научных учреждения: Государственную академию истории материальной культуры (ГАИМК, с 1919 г.) и Яфетический институт (с 1921 г.). Тогда в России почти не было научно-исследовательских институтов, наука в основном развивалась в вузах, а в гуманитарных областях основанные Марром учреждения вообще были в Советской России первыми. Но тогда он еще не заявлял о своем марксизме.

Между тем яфетическая семья беспрестанно расширялась, а объяснять родство яфетических языков древними миграциями оказывалось все труднее. И в ноябре 1923 г. академик Марр сделал заявление, которое потом рассматривалось его последователями как начало новой эры в языкознании. «Индоевропейской семьи расово отличной не существует», «вначале был

не один, а множество племенных языков, единый праязык есть сослужившая свою службу научная фикция». Сравнительно-историческое языкознание перечеркивалось.

«Новое учение о языке», как Марр назвал свои построения, за последующее десятилетие менялось им много раз к ужасу студентов и аспирантов, которым надо было все это заучивать. Но некоторый стержень оставался, его можно свести к трем постулатам.

Постулат первый. Языки не дробятся, а только скрещиваются. У первобытных людей возник не единый язык, а множество языков, которые потом много раз скрещивались. В итоге должен возникнуть единый язык человечества. Последняя идея была у Марра с самого начала, но потом стала связываться с идеей коммунистического общества, которое тогда многим казалось очень близким (в Яфетическом институте даже пытались создать группу, которая бы выработала основы всемирного языка, но из этого ничего не получилось). Очевидно, что это уже упоминавшаяся идея смешанных языков, доведенная до абсурда.

Постулат второй. Все языки проходят с разной скоростью один и тот же путь стадийного развития, переход от одной стадии к другой – революционный скачок. Идея стадий также не была новой: общие законы такого развития пытались выяснить ученые в XIX в., но потом она была оставлена из-за недостаточной подкрепленности фактическим материалом. Только в XIX в. в стадиях видели отражение этапов развития человеческого мышления, а Марр выводил их из социально-экономических-отношений (в более позднем варианте, из общественных формаций). Кроме того, отказавшись от семей, он не мог отказаться от яфетических языков, и объявил их одной из стадий. Как и в случае со скрещением, академик довел уже существующие идеи до абсурда. Например, он считал, что на определенном уровне экономического развития любой народ будет называть воду *su* (как в тюркских языках). По его мнению, сходство языков, ошибочно считающихся родственными, не надо преувеличивать, зато он любил находить стадийно объясняемое сходство любого языка с теми языками, с которыми он сроднился: «Русский оказался по пластам некоторых стадий более близким к грузинскому, чем русский к любому индоевропейскому, хотя бы славянскому». «Немецкий язык в древнейших частях не индоевропейский, а общий со сванским (в Грузии. – В. А.)».

Постулат третий. Звуковой язык, пришедший на смену первоначальному жестовому языку (кинетической речи), у всех людей возник в виде четырех «диффузных выкриков» САЛ, БЕР, ЙОН, РОШ. Потом эти выкрики видоизменяли звуковой облик, из не членимых элементов превращались в последовательности звуков (фонем), комбинировались и получали грамматическое оформление. Однако в любом языке, в том числе современном, можно выделить реликты древних стадий вплоть до этих четырех элементов (это называлось лингвистической палеонтологией). Студентов заставляли «палеонтологически» препарировать любое слово, например, *адмиралтейство*. Опять-таки идея лингвистической палеонтологии и сам этот термин существовали до Марра, но искать в каждом слове каждого языка преобразованные «диффузные выкрики» или их комбинации в голову никому не приходило. Например, согласно Марру, элемент РОШ можно выделить в словах *русы* (русские), *этруски*, *лазы*, *лезгини*, *ручей*, *русалка*, *рыжий*, *русый*, *красный*.

Марр к этому времени уже мало считался с фактами, отбирая из них лишь то, что соответствовало его схемам. Впрочем, имелся круг языков, факты которых он все же старался не искажать. Это современный русский, современные французский, немецкий и английский, классическая латынь. То есть языки, входившие в круг знаний русского интеллигента того времени. Сюда, по-видимому, входили и языки, которыми он профессионально занимался, по крайней мере, грузинский. В наши дни, как это убедительно показал академик А. А. Зализняк, духовные преемники Марра А. Т. Фоменко с соавторами сократили число неприкосновенных для них языков до двух: современного русского и современного английского. Другие языки их читатели редко знают и принимают любые операции с ними на веру.

С другим материалом можно было поступать, как угодно. Теория стадий в ее традиционном варианте использовала в качестве единственного объективного критерия морфологическую сложность; сложные по этому параметру латинский и древнегреческий языки признавались самыми совершенными. Но камнем преткновения оказывались французский и другие романские языки, морфологически более простые, чем латынь, от которой они произошли. Это пытались объяснить то как «тонкое совершенствование» строя языка, то как регресс. Но для Марра проблемы не существовало: «французский, английский, немецкий языки глоттогонически древнее латинского», то есть находятся на более ранней стадии. И это не результат регресса: французский язык – скрещенный галло-латинский, отсутствие в нем склонения и бедность спряжения – наследие яфетического галльского языка (о котором на самом деле очень мало что известно), то есть он вовсе не терял склонение и спряжение, но, может быть, разовьет их в будущем. Доказать это нельзя, но такую гипотезу хотя бы можно было предложить, если бы никакие промежуточные звенья между классической латынью и современным французским до нас не дошли. Однако существует немало текстов, отражающих промежуточные этапы развития, начиная от так называемой народной латыни и кончая средневековым французским языком, которые показывают разные этапы упрощения морфологии. Но Марр все это просто зачеркивал.

С эпохами, для которых фактов имелось достаточно, ему всегда было трудно; он, например, связывая стадии с формациями, сумел ни разу не сказать, чему в строе языка соответствуют феодализм и капитализм. Зато в «доистории» было, где разгуляться. Один из его критиков еще в начале 30-х гг. писал: «Яфетидология страдает органическим пороком – неестественной дальноркостью. Она смотрит или в палеонтологические сумерки прошлого или в манящие дали будущего».

И, по выражению критика «нового учения» Е. Д. Поливанова (героя очерка «Метеор»), «то, что является постоянной ошибкой Марра, – это борьба со временем – анахронизмы... Названия, которые можно было бы назвать племенными, вытянуты из топонимики и перенесены вдруг в эпоху зарождения человеческой речи». Раскол Европы на католиков и протестантов (XVI в.) академик возводил к доисторическим временам. Это не наука, зато вспоминается такой современник Марра как В. Хлебников: тот тоже, по выражению Г. О. Винокура, «в своем видении сразу обнимал одним взором все времена и весь мир... Он, в высшем, конечно, смысле, «не понимал» разницы между VI и XX в., между египтянами и полабьянами».

Марр не избегал иллюстрировать свои схемы примерами, наоборот, у него всегда на голову читателя обрушивается масса примеров из мало кому известных языков (хотя специалисты по таким языкам выясняли, что многие из них вымышлены или искажены). Как отмечал Е. Д. Поливанов, русисты, читая Марра, говорили, что русская часть его построений неубедительна, зато про шумерский язык очень интересно, а специалист по шумерскому языку (вероятно, имеется в виду В. К. Шилейко) считал, что про шумерский язык все неправильно, зато про русский язык любопытно.

Работа Марра с материалом видна, например, в его многочисленных этимологиях. Вот его немецкая этимология, производящая Hundert ‘сто’ от Hund ‘собака’: собака – собака как тотем – название коллектива, объединенного тотемом – все – много – сто. Очевидно, что хотя Марр говорил о «семантических законах», но для него исходно фонетическое сходство, а семантическое развитие придумывается (откуда и на каком этапе взялось наращение -ert и что оно значит, Марр не объясняет). Или уже русский «семантический пучок» модификаций «выкрика» БЕР: смерды – шумеры – иберы – сумерки – смерть – змей. Имеем шесть слов, три из которых известны и привычны, а три других – исторические термины, происхождение которых неясно и надо толковать. Все они фонетически как-то похожи, причем нет никакой регулярности в их соответствиях, а сходство может быть и очень большим (смерды и смерть), и крайне приблизительным, а в некоторых парах даже отсутствовать (змей и иберы). Три при-

вычных слова можно при некоторой фантазии связать по значению (по крайней мере, смерть с сумерками и смерть со змеем), а три термина получают толкование (по Марру, смерды – «иберско-шумерская прослойка» русских).

Все это – типичные народные этимологии, не раз предлагавшиеся непрофессионалами. Часто это даже не сходство, а тождество: Марр связывал имя *Глеб* со словом *хлеб*, но святой Глеб издавна считался покровителем хлебных злаков. И не смог он, как и не один подобный энтузиаст, пройти мимо сходства этрусков с русскими, правда, не связывая первую часть слова *этруски* с местоимением «это».

Конечно, ассоциации академика-полиглота были гораздо богаче и многообразнее ассоциаций людей, которые знали лишь один язык (а таких среди народных этимологов большинство). Он мог находить сходство в русском, мордовском и китайском названии коня и пр. Но различие это лишь количественное. Ничего, по сути, не меняло и то, что у Марра, конечно, были какие-то рабочие приемы. Это, во-первых, стремление включить в каждый «пучок» побольше всего и свести все в конечном итоге к минимальному числу исходных единиц: четырем элементам или их комбинациям. Во-вторых, некоторые излюбленные приемы этимологизирования: возведение слов к племенным названиям и к тотемам, к именам небесных светил и названиям руки как первоначального орудия речи. Кто-то другой на месте Марра, связывая *Hund* и *Hundert*, может быть, обошелся бы без тотема. Но никакой регулярности, к которой уже тогда стремились этимологи, у Марра не было, не потому, что он о ней не знал, а потому, что она мешала бы многим его любимым построениям.

И в народных этимологиях, и у Марра нет никаких ограничений на полет фантазии, кроме пределов знаний (Марр, разумеется, знал очень много, хотя часто мог путать, а иногда и подтасовывать факты) и хотя бы минимального звукового сходства. Марр, правда, не был здесь совсем одинок среди людей, имевших научные чины и звания. Один из первых русских профессоров востоковедения Осип Сенковский (сам поляк) на основе звукового сходства слов *лехи* и *лезгини* пришел к выводу о том, что польская шляхта – не славяне, а потомки кочевников. Чем не Марр, который в этих же словах находил элемент РОШ? Но во времена Сенковского вся этимология находилась на таком уровне, а во времена Марра уже существовали определенные правила, по которым велись этимологические исследования. Но Николай Яковлевич предпочитал играть без правил, возвращая науку на уровень начала XIX в., к давно пройденному этапу народных этимологий, «обыденного сознания». Марру хотелось, как и авторам бытовых этимологий (в которых цейхгауз превращается в чихаус, вермахт в верхмахт и т. д.) объяснить непонятные слова любого языка через созвучные слова, ему лично известные (грузинские, армянские, русские и др.).

Академик подходил к предмету исследований не как ученый (хотя что-то мог использовать из арсенала науки) и не как безумец, а как талантливый, склонный к рефлексии, обладающий хорошей интуицией, знающий много фактов, но совсем не образованный носитель языка (в его случае, нескольких языков). Поэтому его этимологии оставались народными этимологиями. Конечно, Марр имел образование и даже хорошее в своей области образование, но в лингвистике остался дилетантом.

И так же, как Сенковский, он на основе случайных звуковых сходств выдвигал масштабные исторические гипотезы. «В конечном счете, вся яфетидология построена на этимологиях, которые построены на звуковых сходствах» (Е. Д. Поливанов). Шумеры жили в Месопотамии в 3 тысячелетии до новой эры, иберы на Пиренейском полуострове в конце 2 – начале 1 тысячелетия до новой эры, смерды – категория русского крестьянства, зафиксированная в источниках с XI в. новой эры. Связывать их всех воедино означало переворот в истории, но основой было лишь звуковое сходство их названий. Зато Марр отвечал противникам: «Но что вы можете сказать – ведь это же факты». И увлеченные историки заявляли, как Б. Л. Богаевский: я, «не будучи лингвистом, использовал работу Н[иколая] Я[ковлевича] как неизбежную». Неспеци-

алистам в лингвистике казалось, что теории академика дают основу для построений в области древнейшей истории. Но, как напишет критик Марра А. С. Чикобава, «в сумерках доистории легко утверждать о вещах, которым вряд ли кто поверит при дневном свете истории». Но верили в это долго, как и в фантазии Марра о происхождении языка, которые нельзя было ни доказать, ни опровергнуть.

Люди, не знавшие лично академика, обычно видели в его поздних трудах лишь бред сумасшедшего. Эмигрант Н. Трубецкой писал Р. Якобсону, что работы «умственно расстроенного» Марра «рецензировать должен не столько лингвист, сколько психиатр». Но с этим не соглашались те, кто слышали его пламенные выступления: их сила и напор покоряли аудиторию. Могли убеждать и печатные работы. По воспоминаниям М. В. Панова, хороший лингвист А. М. Сухотин, противник марризма, восхитился статьей Марра «Конь от моря до моря», где обозревались слова с этим значением по всей Евразии и все выводились из одного корня. Сухотин восклицал: «Какая титаническая мощь мысли! Какой титанический размах!».

И самые бредовые идеи Марра были созвучны эпохе. Это были 20-е годы, время великих свершений и еще более великих надежд. Первые успехи на пути построения нового общества порождали ощущение возможности и близости всего, казавшегося прежде невероятным. Тогда всерьез надеялись успеть поговорить с рабочими всего мира на общемировом языке. И хотелось отрешиться от «закона, данного Адамом и Евой», во всем, включая науку. В области искусства адекватным выражением этого мировоззрения был авангардизм. См. в недавней газетной статье: «Яфетидология ближе к театру Мейерхольда и поэзии Хлебникова, чем к академической лингвистике». Но в науке этому мешали не только накопленные традиции, но и вся система научного мышления, совокупность принятых подходов. Научный авангардизм так и не смог сложиться в области естественных наук, где его абсурдность была слишком очевидна, в том числе на практике. И в гуманитарных науках его сдерживало хотя бы распространение марксизма, революционного по выводам, но сохранявшего принципы европейского научного мышления Нового времени: опору на факты, стремление доказывать свои утверждения. Маркс и Энгельс никогда не говорили и о создании ими «новой науки» с нуля и опирались на идеи предшественников. Однако «дух времени» искал пути проникновения и в науку. Марр, харизматический лидер, по складу характера более пророк, чем академический ученый, оказался идеальной личностью для роли создателя «авангардистской науки».

В «новом учении» были и многие другие черты, созвучные конъюнктуре 20-х гг., например, рассмотрение всех явлений «в мировом масштабе», игнорирование национальные рамки, сочувствие к культурам и языкам «угнетенных народов» и борьба с европоцентризмом, постановка вопроса о языке коммунистического будущего. Конечно, в их число входили давно свойственные Марру крайне резкие оценки «буржуазной науки», особенно западной. Вот одно из его многочисленных высказываний: «Я прекрасно знаю, какие благородные, самоотверженные работники лингвисты-индоевропейцы, между тем как сама индоевропейская лингвистика есть плоть от плоти, кровь от крови отживающей буржуазной общественности, построенной на угнетении европейскими народами народов Востока их убийственной колониальной политикой». Вторую часть этой цитаты потом повторяли многократно, опуская обычно первую часть.

Кроме созвучия с советской конъюнктурой 20-х гг., учение Марра привлекало и соответствием господствовавшим в ту эпоху (не только в СССР) идеям о всемогуществе науки. «Буржуазная» наука действительно не могла объяснить происхождение языка и закономерности «доистории», а Марр объявил, что теперь все это известно и понятно. И это притягивало к нему и людей, равнодушных к политике, а иногда и не симпатизировавших новому строю. А авторитет его как крупного востоковеда, созданный еще до революции, продолжал сохраняться. Сложился миф о Марре, которому поддавались очень многие (не только лингвисты, но и ученые других областей). И нельзя популярность академика объяснять лишь административными мерами и страхом перед репрессиями: все это появится не раньше 1929 г., а Марра многие

почитали и до того. Степень подверженности мифу определялась несколькими параметрами: расстоянием от Марра (в Ленинграде, где он жил, она была наивысшей, уже в Москве, где академика видели не так часто, она была меньше, а за рубежом идеи Марра не принимали даже языковеды-марксисты), политическими взглядами и особенно научными принципами: новаторы и ученые, склонные к обобщениям, обычно ценили Марра, а чистые фактографы старой школы не хотели его признавать. И надо было быть очень сильным человеком, чтобы сочетать, как Е. Д. Поливанов, научное новаторство и советскую ориентацию с неприятием марризма.

А восхищение Марром не знало границ. Вот знающий японист Олег Плетнер пишет брату-эмигранту Оресту 6 января 1927: «Напрасно смеются “Индоевропейцы”, ибо им нанесен жесточайший удар. Ироническое отношение или “несколько” ироническое отношение западных ученых к теории Марра свидетельствует только о косности этих ученых. *Lux ex Oriente* – из СССР пойдет новая лингвистика. Ты тоже не совсем правильно уясняешь теорию Марра. Он не выставляет новый праязык, а отрицает существование вообще т. н. праязыков. Яфетодология расширилась вообще до палеонтологии речи. И пусть смеются западники-индоевропейцы: она все-таки вертится». А знаменитая О. М. Фрейденберг, прохладно относившаяся к советскому строю, но всегда искавшая новые пути в науке, после первого разговора с Марром восклицала: «Моя жизнь озарена!». И уже после его смерти она писала: «Марр – это была наша мысль, наша общественная и научная жизнь; это была наша биография. Мы работали, не думая о нем, и он жил, не зная этого, для нас».

Приспособление Марра к эпохе все усиливалось. С 1928 г. у него появляются и становятся постоянными высказывания вроде такого: «Материалистический метод яфетической теории – метод диалектического материализма, т. е. тот же марксистский метод, но конкретизированный специальным исследованием на языковом материале». Власть это оценила. Отношение старых академиков к новой власти бывало разным: от открытого неприятия до полной лояльности и активного сотрудничества, но лишь Николай Яковлевич объявил себя марксистом и сторонником пролетарской идеологии. В 1930 г. он, тогда еще беспартийный, выступал с приветствием от ученых на XVI съезде ВКП(б), вскоре его приняли в партию без кандидатского стажа (редкая привилегия). Помимо руководства двумя институтами, он имел много других нагрузок вплоть до вице-президента Академии и званий, в том числе почетного красnofлотца.

Насколько все это у Марра было искренним? Есть свидетельства того, что за границей, куда он в отличие от большинства ученых и в советское время ездил часто, он говорил совсем другое: «Марксисты считают мои работы марксистскими, тем лучше для марксизма» и «С волками жить – по-волчьи выть!». И с марксизмом он мог не считаться, если он противоречил его любимым идеям: он связывал распространение звуковой речи с классовой борьбой, хотя, согласно Ф. Энгельсу, в те времена никаких классов еще быть не могло. Но марксистская терминология для Марра была тем же самым, что когда-то облачение в мундир действительного статского советника. «Грандиозный, бурный, беспредельный темперамент» жаждал монополии в науке, и теперь он ее получил, правда, не в «мировом масштабе», как мечтал, а лишь в своей стране. Вряд ли он всерьез овладевал «пролетарским мировоззрением», скорее мстил нелюбимой им с самого начала академической среде, куда благодаря талантам сумел попасть, но она осталась ему чужой.

Во второй половине 20-х гг. Марр поссорился почти со всеми учениками и сотрудниками прежних лет (кроме лишь близкого к нему с 1917 г. И. И. Мещанинова, прошедшего благодаря его покровительству путь от «правителя канцелярии» Марра до академика). Их место заняли новые люди, прозванные «подмарками» по аналогии с подберезовиками и подосиновиками. Среди них были и способные лингвисты, в основном тогда совсем молодые и верившие учителю (В. И. Абаев, А. А. Холодович), и люди без специального образования, сами рассчиты-

вавшие через Марра завоевать высокое положение (В. Б. Аптекарь, С. Н. Быковский). «Подмарки» создавали академику славу, составляли сборники его цитат и боролись с врагами.

Понять Марра, писавшего очень запутанным языком, часто забывавшего к концу фразы то, что сказано в ее начале, было крайне сложно. Мой учитель В. А. Звегинцев рассказывал студентам, что когда уже в конце 40-х гг. его вызвал ректор и потребовал в соответствии с переданными сверху инструкциями пропагандировать «новое учение о языке», он предложил ректору пари: тот, открыв том Марра на любом случайном месте, не сможет понять, что там написано. Пари выиграл Звегинцев: ректор несколько раз открывал книгу и каждый раз не мог ничего понять, после чего отпустил Владимира Андреевича с миром. О стиле Марра пишет уже в наши дни Б. С. Илизаров: «Стиль витиеватый и путаный демонстративно тормозит понимание, причем так, что читатель не сразу осознает, каким образом одной-двумя фразами его закидывают из сталинского настоящего в какую-то самую далекую прорву прошлого, затем, как головой в грядку, – вновь сажают в бытие настоящего, но, не дав укорениться и там, швыряют в будущее». Но в ответ на признания в непонимании академик грозно отвечал: «Новое учение о языке» требует «особенно и прежде всего нового лингвистического мышления. Надо переучиваться в самой основе нашего отношения к языку, надо научиться по-новому думать». «Новое учение о языке требует отречения не только от старого научного, но и от старого общественного мышления». «Новое мышление», как и другие любимые выражения Марра тех лет: «перестройка», «борьба с застоем», заставляют вспомнить другого их любителя в иную историческую эпоху. Очевидно, что М. С. Горбачев не читал Марра, и здесь может быть лишь типологическое сходство.

Полбеда, если бы Марр ограничивался только подобными обвинениями приверженцев «старого мышления» в книгах и статьях. Но желание иметь монополию в науке оборачивалось административными кампаниями против них. Особо пострадал Е. Д. Поливанов (см. очерк «Метеор»), сам вызвавший на бой Марра в начале 1929 г. в Коммунистической академии. Он говорил, в частности: «Критиковать яфетидологию как систему, это значило бы принять ее всерьез... Отсутствие элементарного фактического фундамента, которое заставляет нас проходить мимо яфетидологии не из-за ее общих положений, а из-за ее материала». «Лингвистам не было надобности доказывать, что $2 \times 2 = 4$ и что у Марра $2 \times 2 =$ бесконечности». «Не только исторические факты объясняются неверно, но часто самые факты берутся неверно, т. е. иначе говоря, в примерах нет того материала, который нужен для факта. Нужен, например, звук, которого не существует».

Сам Марр не явился на бой, его заменили «подмарки», к которым присоединились занимавшие самостоятельную позицию ученые, считавшие себя представителями новой науки и потому поддерживавшие Марра; это были Н. Ф. Яковлев и Р. О. Шор, герои очерков «Дважды умерший» и «Первая женщина». Соединенными усилиями «поливановщина» была разгромлена, ученого обвинили в научном и политическом «черносотенстве», почти никто его не поддержал. Дальнейшая его судьба была невеселой и закончилась расстрелом (отсылаю читателя к очерку «Метеор»). Примерно тот же состав сторонников Марра в 1931–1933 гг. боролся с другими конкурентами в марксистской лингвистике, на этот раз с целой группой молодых языковедов, имевшей название «Языкофронт» (см. очерк «Выдвиженец»). И их удалось разгромить, пользуясь поддержкой наверху.

Поливанов и «Языкофронт» были конкурентами в борьбе за «новую лингвистику». Не менее тяжело пришлось ученым старой школы вроде упоминавшегося А. И. Томсона или Г. А. Ильинского. Марр их презрительно именовал независимо от области интересов «индоевропеистами». Им не давали работать, увольняли, их труды не печатали, при этом признаком «контрреволюционности» считалось несоответствие их идей «новому учению о языке» академика Марра. Апогеем борьбы марризма с любой научной лингвистикой стал сборник, который выпустили «подмарки» во главе с аспирантом Марра Ф. П. Филиным в Ленинграде в 1932 г., он

назывался «Против буржуазной контрабанды в языкознании». Там «контрабандистами» были названы почти все сколько-нибудь значительные советские языковеды тех лет, не входившие в марристский лагерь, от А. М. Пешковского и Д. Н. Ушакова до Н. Ф. Яковлева и Р. О. Шор.

Марра иногда и сейчас, особенно в среде петербургских востоковедов, считают «небожителем», пусть заблуждавшимся, но жившим исключительно в мире высокой науки. То есть, как сказано в басне Крылова, «лев бы и хорош, да все злодеи волки», то есть «подмарки». Действительно, Марр прямо не участвовал в борьбе с «поливановщиной» и «Языкофронтом», не был в числе авторов сборника против «контрабандистов». Но это была позиция «живого гения», которому не следовало снисходить до ничтожных противников. А воспоминания показывают, как сам Николай Яковлевич направлял борьбу. Его ученик И. В. Мегрелидзе (один из немногих, кто сохранил верность учителю с 30-х до 90-х гг.) писал, как тот советовал ему ударить по противникам: «они разводят реакционные мысли, и их называть контрабандистами мало». А брошюру П. С. Кузнецова (см. очерк «Петр Саввич») против учения Марра академик назвал «китайской бомбой» (намек на советско-китайский конфликт на КВЖД). «Вулкан, действовавший в едином огне и сотрясавший все вокруг», был страшен в гневе и обрушивал потоки лавы на своих противников и просто на тех, кто работал независимо от него. От ударов громовержца страдали не только лингвисты, но и историки, археологи, востоковеды. 1929–1933 гг. были тяжелыми годами для гуманитарных наук в СССР, в том числе и из-за роли Марра.

Марр, казалось, добился очень многого. Безвестный юноша, приехавший в столицу из глухой провинции, пробивший дорогу себе сам, стал знаменитым ученым, при жизни его называли великим. Выходили цитатники его трудов, чего в стране, кажется, более никто, кроме Сталина, при жизни не удостоивался. Одним из первых он получил орден Ленина.

Но нельзя думать, что он так уж был во всем благополучен. И в этой жизни бывали свои беды и страдания. Трагической оказалась судьба его детей. Из четверых двое умерли в младенчестве, один из сыновей в годы Гражданской войны был призван в Красную армию и умер там в 23 года от тифа. Последний оставшийся сын Юрий, также ставший востоковедом (иранистом), к тому же поэт-футурист (его поэтическое наследие и сейчас изучают), совсем молодым заболел туберкулезом, отец послал его жить на туберкулезный курорт в Абастумани, но Юрий так и не выздоровел и умер в 42 года, правда, на год пережив отца. А мать пережила всех детей! Все основные материалы экспедиции в Ани ученый в годы Гражданской войны отправил из Петрограда в Закавказье для предполагавшегося музея, по дороге на поезд напали бандиты, и все пропало (а Ани после войны оказался на турецкой территории и стал недоступен). Во время «Академического дела» 1929–1930 гг., когда была арестована группа академиков, Николай Яковлевич тоже, говорят, боялся неприятностей. Один из сотрудников Яфетического института рассказывал, что, зайдя к нему домой, обнаружил знаменитого академика... под кроватью: тот, услышав звонок в дверь в неурочное время, решил, что за ним пришли. И это не было абсолютно не обоснованно: пострадавшие по делу рассказывали, что у них брали показания и на него. Но Марр был нужен власти, и в итоге, арестован не был и проработкам не подвергся.

И грустным был конец жизни ученого. В октябре 1933 г., в разгаре деятельности, с ним на работе случился инсульт. И. В. Мегрелидзе уже в годы перестройки утверждал, будто его спровоцировало резкое заявление Сталина о том, что Марр «сорвал языковое строительство», но подтверждений этому нет. Марр несколько дней находился между жизнью и смертью, его долго не могли даже вывезти из ГАИМК в больницу. В тот раз он выжил, даже стал появляться на людях и ездил в санаторий в Крым, но полного восстановления так и не случилось, работать он больше не смог. Коллеги запомнили, как на похороны его старого друга академика С. Ф. Ольденбурга с огромным трудом все-таки пришел Марр и сказал: «Прощай, Сергей, мы скоро встретимся». А Николай Яковлевич перед этим объявил себя атеистом. Помиравшийся с учителем под конец его жизни И. А. Орбели рассказывал, что тот уже тяготился «новым

учением» и с тоской вспоминал о временах яфетической семьи. Но ученый уже не был властен над созданным им мифом. Марру становилось все хуже, и 20 декабря 1934 г. он умер. Похоронили его в Александро-Невской лавре пышно, в день похорон в Ленинграде отменили занятия в школах.

О роли, которую играло имя Марра в последующие полтора десятилетия, мне говорил сотрудник основанного им Яфетического института, позднее ставшего Институтом языка и мышления, И. И. Цукерман: «Марр был для нас щитом, под прикрытием которого мы могли заниматься тем, чем хотели». Было положено хвалить Марра как великого ученого и основоположника марксистского языкознания, имелся набор его высказываний, который можно было взять из цитатника, но большинство его идей вышло из активного употребления. Ставший его преемником И. И. Мещанинов имел совсем иной, не «вулканический» темперамент, а в научном плане отошел от него далеко. И когда громовержца не стало, в науке обстановка на время успокоилась.

Марр-человек умер, а Марр как мифологическая фигура продолжал жить, и его именем время от времени совершались новые безобразия на научном фронте, как это происходило в 1948–1949 гг., когда до языкознания дошли борьба с «менделизмом – вейсманизмом – морганизмом» и «космополитизмом». И вдруг громовержец сам был повержен «самим» Сталиным, выступившим против него 20 июня 1950 г. О причинах вмешательства вождя в вопросы языкознания можно рассуждать много, версий достаточно. Отмечу лишь одно: насколько «новое учение о языке» соответствовало конъюнктуре 20-х гг., настолько оно не соответствовало конъюнктуре последних лет жизни Сталина, когда интернационализм сменился великодержавностью и началось, пусть не полностью, возвращение к прежним традициям. В 40-е годы востоковед Н. М. Гольдберг сказал в разговоре: «До сих пор мы шли новым, неизведанным путем, а сейчас мы встали на такой, каким уже идут другие страны». И в области науки Марр, как это понял Сталин, мог быть хорошим примером опасности «новых, неизведанных путей», а статья вождя фактически снимала проблему построения особой «марксистской лингвистики», предписывая вернуться к русской науке о языке дореволюционного времени.

Как писал потом П. С. Кузнецов (см. очерк «Петр Саввич»), «сталинское учение представляло лингвистам несравненно более широкое поле самостоятельной научной деятельности, чем «новое учение о языке» Н. Я. Марра... Оно в простой и доступной форме сообщало многие такие положения, которые (или близкие к ним) уже высказывались нашими выдающимися лингвистами; прямых ошибок, в противоположность мнению некоторых ученых, в нем было очень немного (я лично могу указать, пожалуй, лишь две, и то касающиеся некоторых частных вопросов)». А вот отзыв со стороны, принадлежащий знаменитому Ноаму Хомскому: «Я читал эссе Сталина, когда оно появилось, и нашел его в высшей степени разумным (perfectly reasonable), но не содержащим ничего нового (quite unilluminating)».

С тех пор на многие годы установилось общее мнение о Марре как о великом путанике и фантазере, которое не смогли опровергнуть ни разоблачения «культа личности», ни даже «перестройка» (одно из слов, любимых Марром). Но в последние примерно десять лет вдруг ситуация стала меняться, стали даже говорить о «неомарризме». В Петербурге была попытка создать «марровскую лабораторию». В МГУ в 2004 г. была дискуссия о Марре, застрельщиком которой стал студент, яростно отстаивавший идеи Марра; чуть позже он, уже окончив к этому времени университет, читал там по Марру спецкурс. Оказавшийся сейчас в моде философ Ф. И. Гиренок в 2006 г. прочел в том же университете лекцию, прославлявшую Марра. Но и в более академичных кругах, в том числе на Западе, интерес к Марру заметен. В 2004 г. в Швейцарии состоялась специальная конференция по наследию этого ученого; хотя там никто не сказал, что поддерживает «новое учение о языке» в полном объеме, но большая часть выступивших находила в нем те или иные интересные идеи. И в 2003–2009 гг. в статьях в журнале

«Новая и новейшая история» упоминавшийся историк Б. С. Илизаров, резко оценивая И. В. Сталина, защищал Марра (у историка много фактических ошибок, но не о них сейчас речь).

В чем здесь дело? Причины могут быть различны. Илизаров пришел к Марру, отрицая Сталина, организатор дискуссии в МГУ оказался восхищен его «антибуржуазностью» (в искренности которой я имею основания сомневаться). Но важнейшую причину точно охарактеризовал в Интернете журналист и литературовед Вадим Руднев: «В конце XX в. труды М. постепенно стали реабилитировать, особенно его штудии по семантике и культурологии. Появилось даже понятие «неомарризм». Это произошло при смене научных парадигм, при переходе от жесткой системы структурализма к мягким системам постструктурализма и постмодернизма, где каждой безумной теории находится свое место». И Ф. И. Гиренок заявил, что любая философская теория обязана быть безумной, а Марр был по-настоящему безумен (кстати, у Марра были большие аппетиты, но как раз на славу философа он не претендовал).

«Постмодернистская наука», для которой не существует научной истины, сейчас в моде на Западе. У нас ее успех усиливается посеянным в перестроечные годы недоверием к науке советского времени, иногда переходящим в подозрительное отношение и к любой науке, признававшейся «большевиками», а то и к самим принципами научного мышления, по крайней мере, в гуманитарных науках. «Постмодернистская наука» (типичный ее пример – публикации А. Т. Фоменко и его соавторов) не считается с этими принципами, а факты использует или не использует по своему усмотрению. Марр был предтечей такой науки и имел с ней много общего, отсюда к нему может возникать интерес. Но объективно и во времена Марра, и сейчас на основе подобных подходов происходил и происходит возврат к донаучным принципам, к народным этимологиям и другим проявлениям донаучного, бытового сознания. И с этим, как я считаю, надо бороться.

Человек-словарь **(Д. Н. Ушаков)**



Языкознание, или лингвистика не относится к числу наук, избалованных в России общественным вниманием. В нашей истории, правда, был короткий период, когда об этой науке заговорили повсеместно: это случилось в 1950 г., когда появилась памятная старшему поколению брошюра И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», предназначенная для всеобщего изучения. Но те времена давно прошли, и наших лингвистов (среди которых немало ученых мирового класса) мало кто знает за пределами круга их коллег. И лишь немногие имена прочно вошли в нашу жизнь. Пожалуй, их всего три: Даль, Ушаков и Ожегов (когда-то не менее известен был академик Марр, но после его критики Сталиным это имя ушло в тень). Легко видеть, что это все составители известных словарей русского языка. Давно нет никого из них, но словосочетания: «Словарь Даля», «Словарь Ушакова», «Словарь Ожегова» продол-

жают жить, а словари издаваться. Имена всех троих вошли в легенду и в анекдоты. В 60-е гг. писатель Василий Аксенов написал юмористический рассказ, где действовал именитый языковед Ушаков-Ожегов; сотрудники академического Института русского языка обиделись и опубликовали письмо в защиту памяти обоих ученых.

Но много ли мы знаем об этих людях (Аксенов явно не знал ничего)? Многие ли знают, например, что если Даль все сделал один, то Ушаков – не единственный автор своего словаря, а руководитель научного коллектива? Тем более мало кто знает, что Д. Н. Ушаков и С. И. Ожегов, хотя много лет сотрудничали (Ожегов был и одним из авторов словаря Ушакова), но принадлежали к разным научным школам, а их отношения не всегда бывали гладкими. Впрочем, Д. Н. Ушаков имел, по крайней мере, в прошлом широкую известность не только как автор словаря. Как вспоминает одна из мемуаристов (дочь Р. О. Шор, героини очерка «Первая женщина»), «Ушаков... был одним из двух-трех ученых, фамилии которых были известны школьникам, поскольку Ушаков был автором маленького орфографического словаря». А люди старшего поколения помнят и его выступления по радио. Но хочется подробнее рассказать о хорошем ученом и прекрасном человеке.

Дмитрий Николаевич Ушаков (1873–1942) родился и прожил почти всю жизнь (кроме нескольких последних месяцев) в Москве. Его отец был врачом, дед по матери священником. В 1895 г. Ушаков окончил историко-филологический факультет Московского университета, некоторое время преподавал в гимназиях и на Высших женских курсах, а в 1907 г. стал работать в университете. Его учителем был знаменитый ученый, основатель Московской лингвистической школы Филипп Федорович Фортунатов, идеи которого он усвоил на всю жизнь.

Как лингвист Ушаков не был первооткрывателем и революционером. Скорее он стал хранителем и умелым популяризатором традиций, заложенных его учителем. Главным его теоретическим трудом стало учебное пособие «Краткое введение в науку о языке», впервые изданное в 1913 г. и затем выходившее при жизни автора еще восемь раз (не так давно в составе однотомника трудов ученого появилось и десятое издание). Его значение, как и значение многих других работ Ушакова, прежде всего, педагогическое: то, что Фортунатов излагал тяжело-весно и сухо, Ушаков удачно переводил на общедоступный язык. Впрочем, не во всем Дмитрий Николаевич следовал учителю. Фортунатов в соответствии с приоритетами науки XIX в. занимался большей частью древними языками, хотя в общей теории выходил за рамки чисто исторического подхода. А Ушаков, не избегая исторических сюжетов, более всего изучал современный русский язык, и литературный, и диалектный. Такой сдвиг интересов был характерен для науки о языке первой половины XX в., как дореволюционной, так и еще в большей степени послереволюционной.

Важнейшим полем деятельности ученого стала русская диалектология. В 1904 г. начала работать Московская диалектологическая комиссия, которую первоначально возглавлял академик Ф. Е. Корш. Вокруг комиссии сложился круг языковедов разных поколений. Д. Н. Ушаков, работавший в комиссии с самого начала, быстро занял в ней ведущее положение. Он не был научным лидером: как лингвист значительнее был его друг Николай Николаевич Дурново (см. очерк «Никуда не годный заговорщик»). Но Дмитрий Николаевич стал «мотором» работы комиссии, ее организационным лидером, вначале неформальным, а затем и формальным, возглавив ее в 1915 г. после смерти Корша. Комиссия провела большую работу по сбору диалектного материала, по созданию карт и атласов. Благодаря стараниям Ушакова комиссия сохранилась и в годы революции и гражданской войны, продолжала деятельность в 20-е гг., но была закрыта по требованию последователей всесильного тогда Н. Я. Марра в 1931 г. Через нее прошло, получив навыки научной работы, несколько поколений русистов.

Другой областью, в которой проявились способности Ушакова, стала педагогическая. Особенно значимой здесь его деятельность оказалась после революции, когда его старшие коллеги умерли или эмигрировали и он стал ведущим профессором МГУ по русскому языку. Про-

должал он деятельность и в 30-е гг., когда из состава МГУ исключили гуманитарные факультеты, взамен которых был создан Московский институт философии, литературы, истории (МИФЛИ), где все время существования института Дмитрий Николаевич заведовал кафедрой русского языка. Он создал целую школу блестящих ученых, в большинстве занимавшихся не только русским языком, но и теоретическими проблемами языкознания. Его учениками были Н. Ф. Яковлев, Р. О. Якобсон, Г. О. Винокур, П. С. Кузнецов, В. Н. Сидоров, Р. И. Аванесов, А. А. Реформатский и другие. Они внесли значительный вклад в отечественное языкознание, а некоторые из них, как Якобсон, и в зарубежное. Все они всегда сохраняли верность учителю при его жизни и тепло вспоминали его после его смерти.

Ученики любили своего учителя, хотя в чисто научном плане далеко не всегда ему следовали, идя дальше его. К тому времени теория языка во всем мире активно развивалась, ведущее положение заняли направления, в наши дни объединяемые историками науки под общим названием структурализма (во времена Ушакова у нас этот термин еще не был в ходу, но суть была именно такой). И наиболее крупные из учеников Дмитрия Николаевича пошли по этому пути, а их учитель остался в эпохе Фортунатова. Как считал один из его учеников Р. И. Аванесов, «Д. Н. Ушаков, мало понимая по существу, чутьем мудрого человека понимал, что за новым будущее».

Непонимание, проявлявшееся в сфере науки, не распространялось на человеческие взаимоотношения. О дружбе учителя с учениками, которые часто приглашались в гостеприимный дом на углу Сивцева Вражка и Плотникова переулков, сохранилось немало свидетельств. «В. Н. [Сидоров] подчеркивал простоту и доступность Д. Н. Ушакова, дома у которого ученики нередко собирались за вечерним чаем (и это было продолжением воспитательного и образовательного процесса)». Обстановка была веселой и непринужденной. Вот что вспоминал А. А. Реформатский: «Все мы имели прозвища. Общее для нас было: “Ушаковские мальчики”, выдуманное какими-то зоилами, но нам это нравилось, и мы с гордостью носили кличку “ушаковские мальчики”. Сам Дмитрий Николаевич назывался ШЕР-МЕТР, причем обе половины сего наименования склонялись: Шер-Метр, Шера-Метра, Шеру-Метру и т. д., а ударение при этом – окончательное». И еще: на одном из вечеров «Ушакова ждал текст из И. Ф. Богдановича: “Во всех ты, Душенька, нарядах [нам] хорош!”. Почтенный профессор, нежно, прозываемый учениками Душенька, был представлен в девичьем платье с оборками и в кружевных панталонах. В правой руке его (ее) находилась игрушка в виде бюста любимого ученика Г.О. [Винокура]». Рисунок сохранился и воспроизведен в современном издании.

Но не всегда веселым было то время. В конце 1933 – начале 1934 гг. сфальсифицировали «дело славистов», затронувшее многих коллег Ушакова. Был арестован его давний друг, «большой ребенок» Н. Н. Дурново, которого больше никто никогда не видел (лишь через много лет выяснилось, что его расстреляли в местах заключения в 1937 г.). Вслед за ним «изъяли» группу видных русистов и славистов, среди которых были его коллега по МГУ А. М. Селищев (см. очерк «Крестьянский сын»), один из авторов словаря Ушакова В. В. Виноградов и любимый его ученик В. Н. Сидоров. Этим троим повезло больше, чем Дурново: они вернулись еще при жизни Дмитрия Николаевича, и тот им всегда старался помочь. Он добился того, что Виноградов мог работать над словарем и в вятской ссылке, а Селищеву и Сидорову после их возвращения дал возможность работать в МИФЛИ и других местах, хлопотал о получении ими разрешения жить в Москве (его ходатайства, в том числе на имя И. В. Сталина, сейчас опубликованы).

А в конце 80-х гг., когда открылись архивы ОГПУ, стало известно, что и над самим Дмитрием Николаевичем тогда сгущались тучи. В протоколах допросов арестованных постоянно фигурировало его имя как одного из руководителей «контрреволюционной фашистской организации», это означало приготовление к аресту. Однако в какой-то момент вдруг в показаниях начала записываться фраза: «Ушаков – антисоветски настроенный человек, но мне неиз-

вестно, был ли он членом организации»; на понятном лишь посвященным диалекте ОГПУ это значило: Ушаков более не разрабатывается. Причина спасения остается неизвестной. Одна из возможных гипотез: Дмитрия Николаевича кто-то (например, сам Сталин, не давший по этому же делу санкцию на арест В. И. Вернадского) счел нужным специалистом, особенно в связи со словарем, работа над которым в 1934 г. была в разгаре.

И действительно, в течение трех десятилетий Ушаков был не только крупным педагогом, но и виднейшим деятелем в области практического применения науки о русском языке. В первую очередь речь шла о поддержании и совершенствовании русской литературной нормы в трех ее аспектах: орфографическом, орфоэпическом (произносительном) и лексикографическом (словарном).

Еще до революции ученый активно выступал как сторонник реформы русской орфографии. Этому была посвящена его книга «Русское правописание», издававшаяся дважды. Когда же в 1917–1918 г. реформа состоялась, Ушаков занял ведущее место в ее пропаганде и распространении. В течение многих лет он возглавлял Орфографическую комиссию Наркомата просвещения. Выше упоминался его знаменитый «Орфографический словарь», многократно издававшийся при его жизни (впервые в 1935 г.) и после его смерти (к 1990 г. 41 издание) и известный не одному поколению школьников. Вопросы нормы, в том числе орфографической, именно в 20–30-е гг. были очень актуальны. Хотя новая орфография была проще старой и усваивалась легче, но после революции русский литературный язык значительно распространился вширь, включив в число своих носителей массы рабочих и крестьян, часто овладевавших языковой нормой не полностью. Возникла угроза размывания нормы, против этого при поддержке власти предпринимались активные меры, особенно с начала 30-х гг., и главным научным экспертом здесь стал Ушаков.

Те же проблемы еще острее стояли в области литературного произношения. Здесь нормы были разработаны гораздо хуже, чем для орфографии, а к тому же здесь писанные нормы всегда недостаточны, большую роль играет непосредственное слуховое восприятие правильной речи. Ушаков писал руководства и справочники по этим вопросам, а распространение правильной устной речи получило к этому времени мощное средство: радио. С середины 30-х гг. Дмитрий Николаевич начал сотрудничать с Радиокomiteетом, сам неоднократно выступал по радио, его ученики участвовали в подготовке дикторов. Сохранилась запись чтения им рассказа А. П. Чехова «Дачники», признанная эталоном «настоящего московского» произношения. И если еще в середине 30-х гг. интеллигенты жаловались на некультурность речи дикторов, то к концу 30-х гг. это было преодолено.

Но, конечно, вершиной деятельности ученого стал его словарь. Работа над ним начиналась (уже тогда при участии Ушакова) еще в начале 20-х гг. во исполнение личного указания В. И. Ленина, но не хватило средств. Лишь с 1928 г. стало возможным приступить к такой работе.

Словарь должен был решить сразу несколько задач. Во-первых, он имел нормативный характер: его читатели должны были получать информацию о том, как можно и как нельзя сказать, как правильно употреблять то или иное слово. Во-вторых, большой по объему словарь должен был отразить все лексическое богатство современного русского языка. А так получилось, что с середины XIX в. в России не появилось ни одного законченного толкового словаря русского языка, более же ранние словари, включая словарь В. И. Даля, уже не могли отражать его современное состояние: язык сильно изменился. В-третьих, за прошедшие годы ушла вперед и наука о языке, и словарь должен был быть составлен на современном уровне.

Для работы над словарем Ушаков привлек сильнейший по составу коллектив русистов, включив в него и своих учеников (Г. О. Винокур), и ученых иных школ (В. В. Виноградов, С. И. Ожегов). Все делали общее дело, а руководитель коллектива умело их направлял. Трудностей было немало, и не только научных. Надо было считаться с требованиями власти, интересы которой представлял «комиссар» Б. М. Волин (его имя стоит в части томов рядом с именем

Ушакова), уметь ради дела идти на компромиссы, но стоять на своем в наиболее принципиальных вопросах. Здесь также основная тяжесть падала на долю Ушакова. А он еще был и одним из составителей словаря. И в 1940 г. последний том словаря Ушакова вышел в свет. В любом словаре есть недостатки и приметы своей эпохи, но высокий его научный уровень бесспорен, а последующие словари русского языка составлялись с его учетом. Позже появлялись и другие словари, в том числе более обширные, но до сих пор, пожалуй, нет русского словаря, равного словарю Ушакова по научному уровню. Словарь потом неоднократно переиздавался (последнее издание в 2000 г.).

Все эти годы Ушаков со своей большой семьей (одна из его дочерей вышла замуж за известного авиаконструктора А. А. Архангельского) жил там же, где и в дореволюционное время, по адресу: Сивцев Вражек, 38, квартира 1. Быт и обстановка там резко отличались от обычных советских. Е.Н. Шор, дочь Р. О. Шор (тоже ученицы Ушакова), вспоминает, как в детстве была с матерью в этом доме. «Он [Ушаков. – В. А.] – удивительное дело – жил со своей семьей в отдельном доме – особнячке. Такая жизнь представлялась мне верхом блаженства... Я... наслаждалась лицезрением рыжего сеттера и двух котов, присутствие которых в этом доме увеличивало удовольствие здешней жизни». Точнее, семья Ушакова занимала не весь особнячок, а первый его этаж, деля его с известным пианистом К. Н. Игумновым. Для именитого ученого такая «старорежимная» жизнь тогда допускалась. Всем своим устойчивым бытом, всем своим обликом ученый олицетворял связь времен, сохранение старомосковских традиций, уже исчезающих в то время.

В предвоенные годы Дмитрий Николаевич имел большую известность и всеми признавался крупнейшей фигурой в области русистики. Он совмещал две должности, заведывая кафедрой русского языка МИФЛИ и возглавляя сектор славянских языков Института языка и письменности АН СССР. В 1939 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Коренной москвич, редко выезжавший из любимого города, Ушаков говорил: «В других городах мне как-то не по себе». Но ему не было суждено закончить жизнь в Москве. Если репрессии обошли его стороной, то общая беда, постигшая страну в 1941 г., задевала каждого. Ученому пришлось эвакуироваться в далекий Ташкент, где его силы быстро иссякли. Позже С. И. Ожегов рассказывал, что Ушаков сказал ему на Казанском вокзале при прощании: «Я вряд ли вернусь. Сделайте новый словарь, который мы собирались делать вместе». Г. О. Винокур писал в мае 1942 г.: «17/IV умер на 70-м году Дмитрий Николаевич Ушаков, мой и Ромин [имеется в виду Р. О. Якобсон. – В. А.] учитель, к которому я был привязан как к родному отцу. Он тоже долго хворал, но... понемножку еще работал. И тем не менее его смерть нанесла мне ужасную рану, от которой все не могу оправиться». Похоронен Дмитрий Николаевич также в Ташкенте. А словарь С. И. Ожегова впервые вышел в 1949 г.

Ушло из жизни поколение учеников Ушакова, но память о нем жива, остались словарь и другие книги. А дом на Сивцевом Вражке стоял еще долго, но в лихие 90-е пострадал от пожара и некоторое время оставался в полуобгоревшем состоянии. А потом на его месте появилось здание в современном духе не то в четыре, не то в пять этажей с кафе «Дежа вю» внизу. Об Ушакове оно не напоминает ничем. На Сивцевом Вражке много мемориальных досок, но доски в память Ушакова нет, да и вешать ее уже некуда.

«Никуда не годный заговорщик» (Н. Н. Дурново)



Любая революция меняет судьбы людей, кого-то возносит, кого-то низвергает. И нельзя судить о ней однозначно. У нас после 1917 г. тоже все бывало по-разному, в том числе и среди лингвистов. Кто-то благодаря революции получил возможности для реализации своих способностей (см. очерки «Выдвиженец» и «Первая женщина»). Кто-то, как Е. Д. Поливанов, герой очерка «Метеор», блеснул и погиб. Кто-то, пройдя через те или иные жизненные испытания, нашел место в новом мире. А кому-то фатально не повезло. Одной из самых печальных оказалась жизнь талантливого ученого Николая Николаевича Дурново. Неприятности, житейские беды и страшная гибель.

А начиналось все очень благополучно. Известный старинный род «одного происхождения с Толстыми» (как сказано в словаре Брокгауза и Эфрона), основатель которого имел про-

звизе Дурной. Много поколений помещиков, генералов, сенаторов. Двое из Дурново уже при Николае II занимали пост министра внутренних дел и, как было положено при такой должности, отличались крайне правыми взглядами. Но бывали и другие Дурново. Елизавета Дурново, по мужу Эфрон (свекровь М. И. Цветаевой) всю жизнь помогала народолюбцам, а потом эсерам. Отец будущего ученого, тоже Николай Николаевич, не был ни царским слугой, ни революционером. Не был он и хорошим хозяином: имение в Рузском уезде Московской губернии давало все меньше дохода, и под конец в его владении оставался лишь небольшой хутор. Младшему Николаю Николаевичу в студенческие годы приходилось ездить из Рузы в Москву на пролетке, что тогда считалось унижительным. Старший Николай Николаевич потратил состояние на политическую публицистику, на издание за свой счет книг по казавшемуся столь актуальным «восточному вопросу». Кабинетный стратег строил планы того, как водрузить русский или на худой конец греческий флаг над Константинополем, и обличал происки «римской курии и англо-американской пропаганды» (последний термин, оказывается, существовал еще в 1890 г.). Его идеей фикс была борьба с Болгарией, власти которой в то время ориентировались на Австрию, а не на Россию; он даже доказывал, что болгарский народ – «мучитель и ненавистник других народов» и вообще болгары – не славяне, а предки их до прихода на Балканы были «магометовой веры» (!). Впрочем, яростен Дурново-старший был лишь на словах, в жизни он был мирным, добрым и очень непрактичным человеком. Сын отличался от отца тематикой и уровнем своих публикаций, но по характеру оказался, видимо, очень к нему близок.

Сам Николай Николаевич родился 23 октября (4 ноября) 1876 г. в Москве. В 1895 г. он окончил с серебряной медалью 6-ю московскую гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Его учителями были крупнейшие русские ученые того времени: по общему языкознанию и индоевропеистике Ф. Ф. Фортунатов, по русистике А. А. Шахматов, по древнерусской литературе М. Н. Сперанский. С самого начала его увлекла наука, и он не унаследовал от отца ни правые взгляды, ни интерес к политике. Взгляды его вряд ли были особенно определенными, но скорее он был умеренным либералом, чуждым крайностей; вступив в 1906 г. в партию октябристов, что-то не принял в ее программе и через год вышел. Лишен он был и квасного патриотизма. Вот такие слова находим в одной из его ранних книг: «Культурная зависимость русского народа от германского никогда не прекращалась и не могла не отражаться на языке». Отец его никогда бы такого не написал.

Дореволюционная биография Дурново – исключительно его научно-педагогическая деятельность. Университет он окончил с дипломом первой степени в 1899 г. и был оставлен на кафедре русского языка и литературы, а в 1904 г. сдал магистерские экзамены и стал приват-доцентом. Как было положено дореволюционному ученому, главным его делом было преподавание. По отзывам учеников, Дурново в целом не был блестящим лектором, но как только речь заходила о предметах его собственных научных поисков, он сразу загорался и мог зажечь и свою аудиторию.

В то время профессора и приват-доценты в России, как и в ряде других стран, не сидели всю жизнь в одном университете, а переезжали из одного университетского города в другой, что способствовало карьерному продвижению. Вот и коренной москвич Дурново после нескольких лет преподавания в родном городе переехал в 1910 г. в Харьков, но в 1915 г. вернулся в Москву. За быстрым карьерным ростом он не гнался и к моменту революции не успел ни защитить докторскую диссертацию, ни стать профессором, что потом скажется.

Но научную известность он уже успел приобрести. До 1917 г. включительно он опубликовал, включая литографированные издания, 90 работ. Его научная деятельность сосредоточилась в те годы на трех больших темах: древнерусская литература, история русского языка, русская диалектология.

Первоначальной областью интересов Дурново стала древнерусская литература и русская литература вообще. Еще студентом он получил золотую медаль за сочинение на тему «Повесть

об Акире Премудром», потом опубликованное. Писал он про сказания о животных в старинной русской литературе, про легенды о заключенном бесе и об Авдакее святой мученице, о житиях Конона Исаврийского и Марины Писидийской, но также и о народных переделках Пушкина, и о рифме в русской поэзии XVIII–XIX вв. А самое крупное его сочинение по данной тематике – издание «Приветства брачного» царю Федору Алексеевичу Сильвестра Медведева, одного из образованнейших людей XVII в., западника по образованию и склонностям. «Бывают странные сближения»: Николаю Николаевичу тогда не могло бы прийти в голову, что судьба издателя и комментатора памятника через два с лишним столетия повторит трагическую судьбу его автора.

Но скоро центр научных интересов молодого филолога стал сдвигаться в сторону истории русского языка и диалектологии. После отъезда А. А. Шахматова в Петербург к нему перешли обзорные курсы истории русского языка, которые он много лет читал в Москве, Харькове и опять в Москве. Среди студентов, слушавших эти курсы, были Н. Ф. Яковлев (см. очерк «Дважды умерший») и Р. О. Якобсон. Именно эти самостоятельно им разработанные курсы стали образцом для позднейших курсов исторической грамматики русского языка, в том числе для курса П. С. Кузнецова, изданного в виде учебника. Если до Дурново история русского языка имела сильный филологический уклон, сосредоточиваясь на особенностях отдельных памятников, то он старался внести сюда идеи Ф. Ф. Фортунатова, стремившегося описывать историю фонетики и грамматики в системе, искать причинно-следственные связи в переходах звуков и грамматических изменениях. Одним из важнейших источников для выяснения истории русского языка (наряду с письменными памятниками) являются современные диалекты, часто сохраняющие очень архаические явления. Но диалекты тогда были изучены плохо, много хуже, чем памятники. Дурново указывал, что еще в 80-е гг. XIX в. не существовало ни истории русского языка, ни русской диалектологии. И если основы истории языка уже заложил его учитель А. А. Шахматов, то диалектология как дисциплина в составе русистики создавалась самим Николаем Николаевичем вместе с его старшим тремя годами другом Д. Н. Ушаковым, героем предыдущего очерка. Они создали в 1904 г. уже упоминавшуюся Московскую диалектологическую комиссию. Если в постановке дела ведущую роль играл Ушаков (Дурново никогда не показывал себя хорошим организатором), то душой и научным мотором всей этой деятельности стал Николай Николаевич. Существовала даже версия о том, будто все идеи трудов комиссии принадлежали ему одному (что, конечно, было преувеличением). В итоге появились выпуски трудов комиссии и несколько книг, написанных Дурново самостоятельно или в соавторстве. В их числе курс русской диалектологии, выпущенный в Харькове, первая подробная «Диалектологическая карта русского языка в Европе» с приложением классического «Очерка русской диалектологии» (карта и очерк совместно с Д. Н. Ушаковым и Н. Н. Соколовым), программа для составления диалектологических карт (с Н. Н. Соколовым), учебные хрестоматии по русским и украинским диалектам, наконец, фундаментальный сводный очерк восточнославянских диалектов. Увы, вышли только два первых выпуска этого свода, один в 1917 г., другой в начале 1918 г., потом все прекратилось.

Дурново сумел создать первую и до сих пор общепринятую (при небольших уточнениях) классификацию русских, украинских и белорусских диалектов, основанную, прежде всего, на звуковых различиях. Все группировки «умеренно-диссимилятивно являющихся» и «ассимилятивно являющихся» диалектов, которые и поныне заучивают студенты-русисты, как и сами термины, введены в науку Николаем Николаевичем. При всех зловключениях их создателя они не выходили из употребления никогда.

25 октября 1917 г. ученому только что исполнился 41 год. Он был известен, занимал, казалось, прочное положение. У него была семья: жена и трое маленьких детей (два сына и дочь). Мы мало знаем о его взглядах к тому времени, но, судя по всему, он принадлежал к той части интеллигенции, которая не предчувствовала никаких катастроф и была удовлетво-

рена сложившимся жизненным укладом. Среди ученых таких было больше, чем среди людей искусства, более чутких к «шуму времени» и предчувствовавших «неслыханные перемены». А люди науки жили в спокойном и уютном мире, где можно было сосредоточиться на решении интеллектуальных вопросов вроде классификации русских диалектов. У них были проблемы: как получить кафедру в лучшем университете или как уязвить статью научного противника (для Дурново привычным оппонентом был Е. Ф. Будде), но это были проблемы внутри того же уютного мира. Мир политики для них существовал где-то далеко, можно было его не замечать, можно было им интересоваться на уровне застольных бесед или профессорских кружков. Кто-то мог стать октябристом, кто-то кадетом, кто-то сочувствовать левым, некоторые даже баллотировались в Думу, но это было скорее игрой, чем настоящей жизнью. Материальные проблемы могли иногда казаться значительными: кому-то не хватало жалования в связи с увеличением семьи, для кого-то оказывалась слишком дорогой квартира, но представить себе голодное в прямом смысле слова существование или совместную жизнь нескольких семей в одной квартире они не могли. Это люди, конечно, знали, что не все в России живут так, как они, они обычно сочувствовали бедным и несчастным, но их образ жизни оставался точкой отсчета. Казалось, что их уютный мир будет существовать всегда.

И вдруг этот мир неожиданно и быстро рухнул. Февраль они в большинстве встретили сочувственно, но скоро стали замечать, что уходят и привычный и милый уклад, и вся организация общества. Жить стало трудно еще до Октября, но и потом становилось все тяжелее. И скоро приват-доцентам, адвокатам, врачам пришлось испытать голод, холод, уплотнения, бандитизм, войну. Старая жизнь осталась светлым воспоминанием, исчезнувшим, скорее всего, безвозвратно. Оставалось надеяться лишь на то, что все как-то образуется (в 1934 г. в лагере ученый напишет, что всегда жил по пословице «Перемелется – мука будет»), и прежний уклад, пусть в несколько ином виде, возродится в России. Для многих в стране тогда идеал, понимавшийся по-разному, лежал в будущем, для этой социальной группы он был в прошлом. В литературе мироощущение таких людей ярче всего отразил Михаил Булгаков. Среди них многие не могут не вызывать сочувствия и уважения. Только из наших публикаций двух последних десятилетий часто выходит, что тогда вся Россия (или, по крайней мере, вся ее культурная и заслуживающая внимания часть) состояла из этих людей. А это не так.

Вели себя такие люди по-разному: одни шли воевать за белых, другие уезжали. Дурново не пошел ни по тому, ни по другому пути. Ему хотелось одного: продолжать свое дело и при этом прокормить семью. Но жизнь постоянно ставила его в ситуацию выбора. А человеком он был столь же непрактичным и не приспособленным к реальной жизни, как и его отец, умерший как раз в эти тяжелые годы. Лингвист младшего поколения Р. И. Аванесов, знавший Николая Николаевича уже в начале 30-х гг., назвал его «большим ребенком». И постоянно в ситуации выбора Дурново принимал решение, оказывавшееся неудачным.

В 1918 г. в Москве жить становилось все труднее, а тут пришло приглашение из Саратова, где перед революцией был основан университет. Там ученому, так и не защитившему докторскую диссертацию, предложили должность профессора, и он принял приглашение. В Саратове собрались неплохие научные кадры: Н. К. Пиксанов, Г. А. Ильинский, ненадолго Н. Ф. Яковлев. Город всю Гражданскую войну оставался советским, бои его обошли, но жизнь и там становилась все труднее. Рассказывая позднее на допросе о том периоде жизни, Дурново ограничился одним словом: «Болел». За три года он смог опубликовать лишь одну статью. И самое плохое: в 1919 г. «во время кочевий в Нижнее Поволжье», как он выразился, пропали все его материалы по диалектам, собиравшиеся два десятилетия. Продолжить сводный очерк восточнославянских диалектов из-за этого стало невозможно.

А в 1921 г. случился знаменитый голод Поволжья. Профессор не выдержал и бежал из Саратова, где у него хотя бы было постоянное место работы, в Москву, где к тому времени голодали меньше, но не было вакансий. На какое-то время его устроил Д. Н. Ушаков в комитет

по составлению «общедоступного словаря русского языка», созданный для реализации известного предложения В. И. Ленина. Но словарь тогда не получился: не хватило ни людей, ни средств; спустя десятилетие Ушаков сумеет-таки составить авторский коллектив и выпустить прославивший его словарь, но Дурново не сможет в нем участвовать. В 1923 г. комитет распустили, и в течение года Николай Николаевич оказался без постоянной работы, живя вместе с семьей на немногочисленные гонорары. Он продолжал оставаться товарищем председателя Московской диалектологической комиссии, но денег там не платили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.